

*Михаил Айзенберг*



**УКАЗАТЕЛЬ  
ИМЁН**

**Михаил АЙЗЕНБЕРГ**

**УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН**

*стихи*

**Москва 1993**



**"Гендальф"**

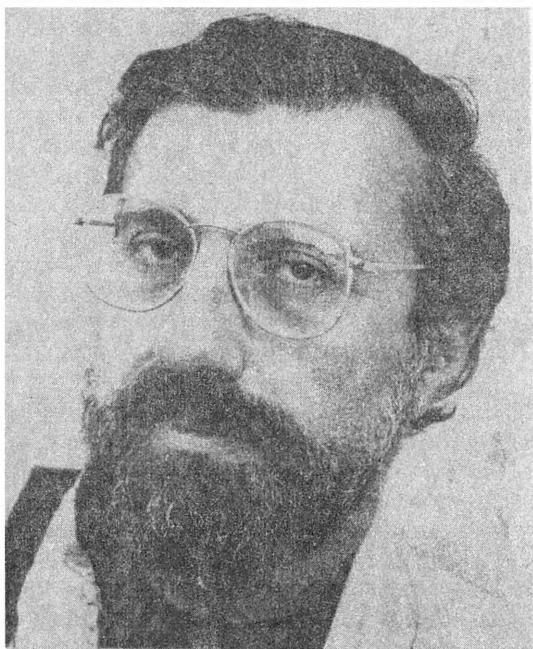
**© Михаил Айзенберг**

**© художественное оформление**

**Д.Константинова**

**Фото С.Файбисовича**

**ISBN 5-88044-018-4**





**1980 — 1986**

Что я тебе скажу  
как частное лицо частному лицу —  
открываешь глаза и видишь свои ладони.  
Что за сон такой?  
Подскажи; помоги жильцу  
не поместиться в доме.

Вот он сейчас повернется к себе лицом —  
где-то ему под сорок.  
Что это было?  
Качка, дорожный сон  
в душной кабине и на плохих рессорах.

Кто это был тот, что еще вчера  
в легких ходил и в добрых?  
Так неопрятен вид своего добра,  
что второпях бежишь от себе подобных.

Воля моя, где, — на семи ветрах  
свист и высок и сладок.  
Вырвется вдруг: я не червь, я не прах,  
я не меченый атом в подпольных складах.

Кто разменял мне волю? Своих кругов  
не узнает, ступая.  
Мысль отлетает точно на пять шагов  
и тычется как слепая.

1984

Среди тех. Среди тех, кто с нуля  
начинает — и сразу бросает.  
Вот ничейная, видит, земля:  
солнце выйдет, и дождик осалит.

Кто влюблен как попало.  
У кого выходной,  
если вдруг перепало  
по одной. И еще по одной.

И — ни много, ни мало —  
не досталось всего.  
А досталось всего ничего —  
все, что было, как с неба упало.

Как легко! Не земля подхватила,  
а пустой самокат.  
Мимо озера, дачного тира  
и потом наугад —

Пыль летела, и солнце светило

И откуда приходит? куда исчезает потом?  
Дело в том, что светилась, летела

Правда, в том то и дело.  
А вовсе не в том.

1984



Вся земля уже с наклейками.  
Смотрит тысячью голов,  
как выходит за уклейками  
одинокий рыболов.

Вслед за ним летит как тетерев  
беспокойный разговор.  
Смотрят дети и свидетели  
сквозь прореженный забор.

Пес шатается без привязи.  
А попробуй перелезть —  
из земли солдатик вылезет  
и за всех ответит: есть!

То некрашенный, то синенький.  
То забор, то василек.  
В маскировочном осиннике  
снайпер, видимо, залег.

Долог путь. Земля с наколками  
да с сосновыми иголками,  
и скучней половика —  
если б не было стрелка.

*1980*

Пока чужому, незнакомому  
еще не кончился черед,  
куда бы мне, очертя голову,  
как голубю в потоки вод?  
Поочередно — то смятение,  
а то неодолимый зуд —  
любви неслышное радение —  
грызут меня или несут.

Куда бы мне? Вода проточная,  
любви разносчица заочная,  
я от нее не увильну

Пока на той горит пощечина,  
другую щеку поверну.

*1980*

Чем жива душа?

Не ее ли кормил с ножа  
весь прошедший год за столом накрытым?

Отхлебнула беды чужой.  
И где конь молодой с копытом,  
там и я — со своей душой.

У-у, ла-худра!  
Только первый слышит звон — и туда рванет.  
Хоть на край Москвы, хоть под утро.

А потом говорит: ну, вот.

А еще говорит:  
«Ты хотя бы не ставь на вид.  
Или ты, господин,  
не хозяин своих седин?»

Или ты, господин,  
в тайной пропасти не один?

Разве ты не один в основе  
с каждой ниточкой естества,  
что дрожит в ненасытном зное —  
только тем и жива».

Тело, костная тина.  
Но сирена кричит в мозгу,  
собирая все воедино

по усилию, по волоску.

Открывается неизбежное,  
второпях заклиная:

- Косточка нежная теменная!
- Темь кромешная!
- Баба снежная!
- Жаба грудная!

1985

Этот выпавший койко-день  
с головой в одеяле,  
с расходившимися тенями:  
зайцы-пальцы и волки-кукиши —

тень замахивается на тень.  
Там своя война начинается.  
Много зайцев убиты сразу,  
и волкам не хватает рук.

Где ж тебя спрятать, любимый друг?  
Как тебя уберечь от сглазу?

На скрещении сквозняков  
нет, не рай. Но отдых, как сон недолгий.  
Переждать, пригреться на несколько  
пар деньков.

Сколько духов уместится на острие иголки?

Рай-раек. Или заячий рай-беляк.  
Братцы кролики и милые их сестрицы.

Пожалейте нас кто-нибудь в снежных  
пустых полях.

1985

Сор смести, заплатить за свет.  
Три письма послать в три страны.

Все дела переделать, которых нет,  
которые и нужны  
лишь на время, когда в тишине повис  
звук, родной одним комарам да мухам —  
самый тонкий, неразличимый свист,  
не улавливаемый ухом.

Замолчать. Извести. Изжить. На худой конец  
завалить тряпьем.  
Обмануть неслаженный писк сердец —  
сокрушенье каждого о своем.

1984

Прошу: позабудем, что мы корешки, —  
соседи по общей перине.

Когда-то на кухне кастрюли, горшки  
такие беседы варили.

Руками, боками веду разговоры,  
касанием — кто там? кому там?  
Надежда на встречу. Надежды как норы  
ветвятся во времени лютом.

Надежда на случай, на пробу пера,  
на выбор летучий, на проблеск один.

А ты, господин?

а ты, господин?

Куда тебе ближе, зачем тебе лучше?

Но — выйти из кровных, из плотных, из тесных.

Остаться улыбкой в гостях и в болезнях.

Улыбка не тает — летает — летим?

1982

Посреди высотных башен  
вид гуляющего страшен.  
Что он ищет день-деньской  
в этой каше, в этой чаше,  
в этой чаше городской?

Он идет, а в теле свищет,  
разбегаясь по низам,  
настоящее винище,  
злой особенный бальзам.

Тело засухой недужит  
Лезет ижица в глаза  
Сон закладывает уши —  
тише, глуше, ни аза.  
И атласный сходит зной.

Снится мне, что я связной

Я связной, а жизнь бессвязна.  
И, с душою в запуски,  
та отстала, та увязла,  
  
кто куда, а все близки.

1982



Живу, живу, а все не впрок.  
Как будто время начертило  
в себе обратный кувырок.  
И только пыльная щетина  
покрыла дни.

Проводим год,  
и время станет бородато,  
как надоевший анекдот,  
застрявший в памяти когда-то.

И два кочевника, два брата  
ползут навстречу — кто скорей:  
упрямый чукча и еврей.

Тот Ахиллес, а тот Улисс.  
Один Илья, другой Микула.  
Еврей и чукча обнялись.  
Над ними молния сверкнула.

*1982*

Нас пугают, а нам не страшно  
Нас ругают, а нам не важно  
Колют, а нам не больно  
Гонят, а нам привольно  
Что это мы за люди?  
Что ж мы за перепелки?  
Нам бы кричать и падать  
Нам бы зубами щелкать  
И в пустоте ползучей  
рыться на всякий случай

*1982*

Этот снимок смазанный знаком:  
на скамейке, с будущим в обнимку,  
на скамейке поздно вечером,  
примеряя шапку-невидимку.

Незаметно, боком проберусь  
по земле, где вытоптаны виды.  
Вот страна, снимающая груз  
будущей истории. Мы квиты.

Вся земля пустилась наутек.  
Как теперь опомниться, собраться.  
Помело поганое метет,  
и лишай стрижет под новобранца.

Беженцы нагнали беглеца.  
Все смешалось в панике обозной.  
И колышет мягкие сердца  
общий страх: бежать, пока не поздно.

*1982*

Свои лучшие десять лет  
просидев на чужих чемоданах,  
я успел написать ответ  
без придаточных, не при дамах.

Десять лет пролежав на одной кровати,  
провожая взглядом чужие спины,  
я успел приготовить такое «хватит»,  
что наверное хватит и половины.

Говорю вам: мне ничего не надо.

Позвоночник вынете — не обрушусь.

Распадаясь скажу: провались! исчезни!

Только этот людьми заселенный ужас  
не подхватит меня как отец солдата,

не заставит сердцем прижаться к бездне

*1985*

Под одной виноградной веткой  
мы сидели, а вышли врозь.  
Винной ягодой, самой едкой,  
это все оторви да брось.

Сквозь прокуренный воздух зыбкий,  
сквозь аквариум темный мой  
красноперые те улыбки  
по счастливой прошли кривой.

Полыхнула сильнее блица  
в перегреве второго дня  
электрическая зарница —  
вспышка памяти и огня.

Оглушительное забвенье  
замыкается над столом.  
Под какое благословенье  
чуть не сотая — соколом!

Сокол с напуском, с ворочанием, —  
возвращается дотемна.  
Хорошо развели отчаяньем  
водку-дуру. Попробуй, на!

*1983*

Это счет вавилонский наш:  
чет на вычет и баш на баш —  
башню строили. И недаром  
к оползанию ледника  
всех давно развели по парам  
как попало, наверняка.

Только шум да шурум-бурум  
бытовая отспорит служба.  
Лучше выберу подобра,  
что ни в чем выбирать не нужно.

Я в родимом дрожал пятне.  
Не платил, задолжал родне.  
И ничем, ни добром, ни мастью,  
даже холодом не оброс.

Заходи, холодильный мастер,  
как мотор заводи мороз.

Пусть вдвойне дорожает холод,  
и Москву облетает слух,  
я не жду ничего плохого  
от медвежьих твоих услуг.

1982

Кто из тех, кто вошел в поток,  
вытянет коготок?  
Ни один. Ни один не выйдет.  
Ни один не вырвется невредим.

Или выйдет за всех один?

Вставшая тьмой в очах,  
кто же она? —  
если гибнет в тысячах,  
если платит тысячей за одного сполна —

Жизнь? Повтори на слух.  
Звук-то какой.  
Слово само с дырой.  
Или трясина сила ее порук?  
Ксива — ее пароль?

Не забывай: ксива.  
Не забывай, что она едва  
едва выносима,  
если не мертва.

И скажи спасибо

И скажи спасибо

1983

Только если слезами полито,  
не смывается. Так-то, брат.  
Да кому это я? кто это  
съеден поедом так, что и сам не рад?

Если где дыра, закричит в дыру.  
Он мышинные заклиняет норы.  
Дай-ка я, смотри, рукавом сотру  
уговор недобрый и опыт скорый.

Затяну и сам заколдую круг  
День потерян, и сон придушен

Дай мне право из первых рук  
Не возьмем ничего, не отпустим и не нарушим

Так я тих, но и так я тих  
Не повернусь ни силой и ни пол-силой

Спаси и помилуй братцев моих  
И меня и моих  
спаси и помилуй

1983



Кто в проливные дни помнит свои пределы?  
Мыслями правит тело, горит в огне.  
Пери-ангелы и человекодевы  
как наяву стали являться мне.

Стол, составленный из столов.

Новые гости — здрасьте.

Полные пригоршни райских птиц. Метро на углу.  
Но не уйдут, не выйдут из тайной власти —  
всем под ребро загнали огненную иглу.

Облик меняется: девочка в первой паре  
как выступает! не поглядит. Но вот  
клонится вниз, космы чадрой упали,  
драные джинсы, и оголен живот.

Еще не сошел загар, а дождь поливает.  
Старый гостинный двор.  
Мерная дробь томит.  
Дождь сгибает ее или истома валит?  
Она молчит, ничего не хочет сказать

1983

Родная кубатура, — вместилище души.  
Скажи, губа не дура! А кто она, скажи?

Ах, тещина малина! Еще стакан чайку.  
Судьбина-акулина, кричи ку-ка-ре-ку.

В готовой халабуде приканчивая дни,  
живем почти как люди мы, люди. А они? —

Шуруют тайной кодлой и явной сволотой.  
Угодный-неугодный, а входит как влитой

их выговор. Поди ж ты: из перекрытых пор  
не дважды и не трижды втекает в разговор.

Не знать бы нам такого. И в памяти певца  
свиное прятать слово для красного словца,

когда тебе горячий он перешлет привет  
веселой кукарачей. А к ней приправы нет.

1983

Эммой — помните? — Бовари  
открывается черный список.  
Братъ — не братъ? говорят: бери.  
С этой тяжбой я вырос, высох

Ах, злодейка! Одна мечта.  
И ни радости, ни стыда.  
Где умоется? на ветру.  
Я увижу и не узнаю,  
и в угаре не разберу,  
где весна, где болезнь глазная

1982

Хоть ненадолго, но посмотри: до поры  
стало весело, пыльно и скученно.  
Подметают дворы, вытряхают ковры  
на развалинах города-чучела.

Осповатый, ощеренный, в теплом дыму,  
безымянный как прежде.

Поклонитесь ему.  
Поклянитесь ему.  
Только землю не ешьте

*1983*

Как бушлатников, темных лицом,  
провожают в пехоту:  
распрощался — и дело с концом.

И опять, по второму заходу,  
начинается — только держись —  
заиграет, спохватится

Или снова, о господи, жизнь  
как жестянка покатится —

Только битый кирпич да песок,  
да трава — шерсть верблюжья

Только детский дворовый каток,  
а на нем полукружья  
и широкая вязь  
от ножей и снегурок

За углом хоронясь,  
зажигаю окурок

Ты прости, что не смог  
отойти от Покровки-Солянки,  
что последней московской шарманке  
я до смерти попал на зубок

1984

В ту пятницу, а может, в ту субботу  
(тупятница, пора тебя в работу)  
Но мы не знали, говорю, не знали

Ни что хозяйка только что с поминок,  
что пасынок убит в Афганистане  
не знали мы. А то бы мы не стали  
так разгоняться до ее прихода.  
Но на дверях ни одного замка.  
Но пунш без пламени — дешевый, ядовитый  
напополам с вином. И видевшая виды  
ничья квартира, крепость паука.

Она внесла зывание и свист.

Но паутиной я в углу провис  
и от любого сквозняка качаюсь.  
А серая звезда в моем мозгу  
уже давно обшарила, печалюсь,  
своим лучом безвидную тоску  
и уголки потерянного рая,  
где по двое и по трое сидят,  
гитара плачется и нежную траву  
тихонько щиплет, слов не выбирая.

И мы остались в темной полосе.  
Меня томил скопившийся излишек  
чужой беды, застроченной в канву.  
Перебродил и только душу выжег  
на злом дыхании, на водочной слезе.

Тупятница моя, твоя работа.  
Притертые, мы заперты в пенале  
как, сам не знаю, — палочки для счета.

Но мы не знали, правда, мы не знали

*1984*

Наше место давно известно  
не по карте. А карте — место.

Карте место, считаем мы,  
путешественники в качалке  
от российской густой зимы  
и до весны-гречанки.

Скоро лето. Дорожный зной.  
День спускается затяжной  
как при морской болезни  
и готовится за спиной  
каркать свое «а если?»

Что «а если?», ну что «а если»?  
Сам послушай, какие песни  
черно-белая тень любви  
нам еще напоеет: ти-ви.

И размаянный, без вины —  
подхватила весна, испарина —  
задыхаюсь от новизны.  
Было? не было? с тенью спарила?  
Или стекла раскалены?

1984



А что этот друг или родственник мой,  
умученный язвой, но в общем прямой? —  
томится, умученный язвой,  
в пучине своей неотвязной.

А что эта девушка, полусестра,  
туга на язык, а на ухо востра? —  
и в ней, торопливой на ушко,  
тяжелая спит погремушка.

А Витя, а Витя, а милый Витек? —  
он что-то увидел — айда наутек!  
но тут же за волосы схвачен.  
Мы рядом сидим. И не плачем.

1984

Перелом, перелом.  
И не где-то в былом —  
жизнь ломается в самом прямом  
ежедневном звучании, чаяньи.

Кто заметит и сможет понять  
это — прущее напролом  
перепахивать невосполнимую гладь,  
землю резать тупым углом.

Посчитаем, кому грозит  
стать свидетелем — и каким! —  
в одна тысяча черный год  
мутной вспенившейся реки,  
на пороги несущей плот.

*1984*

И тяжкий храп, и лошадиный дых,  
и не поймешь, куда оно скатилось  
на всех парах, на всех своих гнедых.

Ведь было время, а — скажи на милость!

Я задержался в образе таком:  
дышать тайком и ждать, когда тупая  
тоска заставит щелкать языком,  
на медленном огне перекипая.

Живое тело ходит ходуном  
на полосе между недоброй ссорой  
и миром, постановленным вверх дном.

В который раз? Не разбери в который.

*1984*

Не отстает, прячется за спиной,  
только всегда при мне.  
Ходит за мной тенью на ясном дне —

Разве тоска?

тише воды  
ниже травы  
глуше песка

Разве это тоска?

Только вздохнули и ожили.  
Только согрелись.  
Что-то заметили издалека.  
Прелестью жизнь обернулась. А что, ее прелесть  
тоже горька?

*1984*

Налицо опрощение.

И не только лицо —  
все становится проще.

Кропотливое письмецо  
отразит это время почти без помарок:

«Духота. Красота. А наро-одищу!  
И жильё не подарок.

Что же вы не приехали к нам?  
Мы без вас торопливо скучали.  
Мы без вас как-то раз  
на гитаре бренчали.  
Даже брызнули слезы из глаз  
как-то раз.»

И не сразу заметишь,  
что безумен такой пересказ.  
Что в окошках тоскующих фраз  
ты не сам вместо солнышка светишь,  
а какой-то певучий  
потрох сучий  
все канючит себе на уме  
бесконечно живучее  
бессаме-бессаме-  
бессамемучее

1985

Каждому, видишь, мера своя дана:  
мера добра, мера огня и чада,  
мера времени. Разве моя вина,  
что мера огня останется непочата.

Если бы воду не лили двойным ковшом,  
если бы время не мерили малой мерой,  
кто бы узнал, кто бы себя нашел  
здесь — между войлоком и фанерой,  
там — в помрачении и в делах.

Все-таки это дикость:  
столько вариться, в трех прокипеть котлах,  
и — никуда. И ничего. Гляди-кось!

1984

Как чернилами брызнет  
в ветровое стекло.  
Это впадина жизни —  
только бы пронесло.

Черным брызнуло соком,  
понесло кислотой  
от распахнутых окон,  
подворотни пустой.

Из шумов безголосых  
неспокойная трель.  
А сарай на колесах  
понесется быстрее.

И за музыкой близкой  
слышен гул вдалеке  
с электрической искрой  
на трамвайной дуге.

1984

«Астор», «Джебел», «БТ» и «Пчелка»,  
и оранжевенький «Дукат».  
Долго плавал дымок. Так долго,  
что не выветрится никак.

В паре с юношеской тоскою  
сигаретный дрожит огонь.  
Дай хоть чем-нибудь успокою —  
под цыганочку, под гармонь,

под гитару из общежитий,  
полупьяный нестройный вой.  
Память. Уличный потрошитель,  
намагниченный часовой.

И не знаю, зачем ей нужно  
возвращаться опять сюда —  
плешка, девушка, двушка, дружба,  
газированная вода.

1984



Тишина. Из табачных туч  
светит комнатная луна.  
Телевизорный синий луч  
чертит рожицы, письма.  
Хор поет хоровую песню.  
Он поет хорошо,  
но слегка отдает болезнью.

Вечер, и снег в окне.  
Вот и зима вчерне.  
Только бы мне  
в бессоннице не поплыть  
по лучевой волне.

Только, только бы не  
ссыпаться в низовой этаж,  
где под видеооблучением  
переползает блюдо  
весь циферблат стола,  
где за столоверчением  
не дрожат, не смеются.

Я ведь не знаю, чем  
кормят зеленых псов  
на прогулке под фонарем.

И снег в круговой вираж  
поднимается, невесом.

1984

В лаковом еловом блеске,  
синевой и парусиной пеленая,  
на засвеченном подлеске  
пятна плавают, и зыбь идет речная

В обморочном стрекоте, в воздухе речном  
тонут купы

в синем дыме еле живы.

А далекие вершины  
шелком шиты, серебром

*1985*



## Письмо другу-литератору

Все забыл. Подметный лист  
больше месяца мусолю.  
Кто там чей антагонист?  
И не тех еще поспорю..

Ты, гонимый Гезиод  
в принудительном колледже? —  
не кончается завод,  
ту же прежнего.. Да нет же.

Так покорно и хитро  
метр сходится с ответом.  
И упавшее перо  
в океан уносит ветром.

Так по-школьному толков,  
на паях с великим мужем  
просиял — и был таков.  
Был такой же. Новый нужен.

Ты, прибившийся навек  
к жизни праздничной и едкой?  
Как безумен человек —  
мысли пичкает таблеткой..

Ты живой водой кропил,  
ты играл застольным перлом..  
Но стихов короткий пыл  
высыхал на каждом первом.

Все каникулы земли,  
все подпочвенные роды  
дальним гулом изошли  
и — не сделали погоды.

Дух безмолвием сведен.  
В крик кричи — и то не слышно.  
Как, когда прямым путем  
слово скорченное вышло?

Даже так: слова легки,  
легче легкого. И, скажем,  
все попутные грехи  
раздавая персонажам,

кое-как обут, согрет,  
ты живешь почти без тела.  
Только смотришь, как на нет  
дорогая сходит тема.

И растет во всей красе  
на тебя похожий голем.  
Ты доволен? Я как все.  
Все довольны — я доволен.

Где-то есть наверняка  
подходящая лакуна.

Незамечена пока.  
Незаполнена покуда.

Там, у мира на краю,  
волю тихую свою  
затиранишь и обманешь.

Кто сказал «не я пою»?  
Новый нужен — понимаешь?

Новый, нового новей.  
Кровь другая. Череп новый.  
Первый свищет соловей  
в голове его садовой.

Что искали, все отверг.  
Что надумал! Голова-то!  
Он такой же человек,  
только смотрит диковато.

Долго-долго он глядел.  
В ухо месяц залетел.  
Месяц в ухе как серьга.  
Топот шопоту слуга.

Ты, слуга, иди в народ.  
Кто не с нами сами в рот.  
А я сяду и поеду.  
Тут недолго, — до ворот.

Все не нове. Кто же нов?  
Этот ложный Иванов  
(а возможно Прониловер)?

Впереди полутонов  
голос, пойманный на слове.

Новый друг, пляши один.  
Барабанщик, барабань же!  
Вместо тех, кто выходил,  
только время вышло раньше.

За истаявших тогда.  
Чья обида в землю вбита.  
Так забытых без следа,  
что фамилия забыта.

*1985*

**1972 — 1982**



У того, кто умеет клевать наугад,  
ненадежнее век и прилежней.

Я умею на время, я знаю назад,  
обрастающий, полный и прежний.

Я живу, подгребая. А что началось:  
и стрищет, и торопит, и ловит  
сторона, показавшая силу и кость  
и рассаду злопамятной крови.

А когда переедем в пустой коробок,  
и подсохшая кровь отворится, —  
пересаженный в камень забудет песок,  
что песок.

Чтобы жить — где селиться?

Где похожие кормятся вечные дни,  
где живое тепло запустенья..

Всем покроем — для тех. И плечами — за них.

Но без совести их и терпенья.

1973

А выдохи уходят в лекаря,  
под перепись и, следом, в поговорку —  
ведь железы мои не повернуть.  
Любой подвох слетается на корку,  
на отрывной шумок календаря,  
и невидаль показывает спину.  
Ее, несохнущую, зачерпнуть  
удесятери мне силы. Но и там  
я, полоскатель, горло опрокину.

Где след ее? Читаю по тылам  
щит головы. Читаю по лиловой  
и выщербленной родинке почтовой

1972

З.Е.Г.

Ты гость и там, откуда нет гостей.  
Ты меченый, пока я здесь стою.  
Ты гость и след, а я в твоём хвосте —  
что знаю с голоса, что дважды узнаю.

Готов порваться на любом стежке  
умелый шум. И воздух неподвижен.

Увязанная кровь тиха как кот в мешке.  
Ее знакомый ропот еле слышен.

Как этот год невесел, непохож.  
Он обещает нас заботливому зуду:  
все повернется к нам, — и спешившийся дождь,  
и зелень внешняя, подмешанная всюду.

Нас хватятся за подсадной судьбой.  
Любое дерево за нами побежит.  
И будет вечно поднимать и шелушить,  
и будет вечер — наш, а день за ним — любой.

1973

Свет мигает, нефть полосует  
переулкa пустой каток.  
За окном моим голосует  
стон или оборотень-зевок.  
И за тыльным когда отеком  
не останется никого,  
остывающий полый кокон —  
доля воздуха моего.

Если ватой в ушах сыреет  
злополучная полоса,  
и толкается, как умеет,  
ось сезонного колеса,  
если мрамор любить бесплатный,  
нестареющий оселок,  
если будет билет обратный,  
и отлив не замочит ног —  
городской известковой тиной  
или всей землей на плаву,  
остающейся половиной  
я другую переживу.

Я не сам календарь тасую  
и на землю без глубины  
я не выпущу тень босую,  
незаметную со спины.

1974

Кто дышит пылью в солнечном столбе?  
Что говорить о том, кто в трубку скручен.  
Он каждый угол мерит по себе,  
там пухнет шлак, просеян и окучен.

И вдвое сложенный, он виден на просвет.  
Он жив и там, где лучше не бывает,  
где первых нет. И, радуясь, кивает:  
я выбираю сам и сам теряю след.

Пока прищур выхватывает лица,  
переодетых гонит из толпы,  
и тянет нас как угольную пыль,  
и делит нас, и не дает слепиться —

подмокшая, повернутая вспять,  
цветет земля невзрачнее и уже.  
И первым ветром выдует снаружи,  
что не успели пальцами прижать.

1974

Я не дымом в чужую одежду вошел,  
и не скука глаза мне кусает.

Посмотри, как живой открывается шов,  
как послушно земля оползает.

Легче ждать. Легче двери носить за собой,  
легче в каждом окне появиться.  
Новизной недостойной, пустой новизной  
опоясаться и заручиться.

Все покатится мимо как вырванный клоч,  
непривязанный сор догоняя.  
Или съжжется сердце в немой кошелек  
и на всех разойдется, линия.

1974

Крым. Раззевавшейся земли  
закатанный бурет локоть,  
и низкие холмы чехлит  
мыском собравшаяся копоть

Все ждет себя переступить  
(летит песок разгоряченный)  
и выпрямить, и растопить  
нечистый глянec навощенный

Что в пестром воздухе снует,  
не приближаясь, не слипаясь, —  
чужое тянет как свое

И только я в клею купаюсь.  
И мир не сходится в одно.  
Не развести руками омут,  
где светит темное пятно,  
и все растет в ущерб другому

1974

Вот последнее: каждый порез на счету.  
И обуженный воздух идет в высоту,  
каждой тенью тебя повторяет.

Вот кора в узелках, и стена проросла.  
Потревоженной молью ныряет зола,  
и не скажешь, как память ныряет.

Тем и жить, наконец, просчитав на шаги  
все, что возле и вровень послушной рутине.

Я привязанный камень. Все уже круги.

Так прижмись к середине, прижмись к середине.

*1975*



Не устаешь себя сличать  
на неудачных вечных сборах,  
и мертвым грузом выручать,  
иной раскуривая порох.

Но, разогнав глоток насквозь,  
при каждом выдохе окольном, —  
ни прямо, ни назад, ни врозь  
в своем мешке, в ушке игольном.

Ты видишь: улица-труба.  
И день провис, и тень роится.  
И прыгнет, свистнет, задымится  
неопалимая крупа.

1975

Ты выбираешь сам, куда смотреть,  
куда второму небу развернуться,  
как высока надставленная треть,  
чтобы успеть до верха дотянуться.

И этот час не сам себе грозит.  
Ты в облаке другого осужденья.

И мутный след за облаком сквозит,  
молочный свет повторного рожденья.

*1976*

Наступая, судьба помутилась,  
и подмена растёт как трава.  
Незаметно и топко пробилась,  
никому ни горька, ни нова.

И, наверно, теперь не придется  
за себя отвечать головой.  
Только дождь на следах остается, —  
ты живой? или съеден травой?

Только эхо в ответ, и забвеньё  
заполняет провалы, дичась.  
Только пена такого терпенья,  
на котором и держится связь.

Говорю, что к душе не пристанет  
налетающая спорынья.  
Это новая манна летает.  
Это жизнь. Но сама не своя.

1976

И ночь и день посторонились вдруг,  
куда-то вбок без повода ступая.  
К пятну асфальта, втянутому в круг,  
моя дуга сжимается тупая.  
Так наша тень по-своему живет,  
все накрывает смазанно и бегло.

В какой попали скучный хоровод!  
Как будто жизнь сама нырнула в пекло.  
Как будто снова землю повело  
прощальным креном, и в одну воронку  
свернулось все ответное тепло.

А мне за ним сворачивать, вдогонку

*1976*

Опустись на лед, в заснеженный ,  
исцарапанный ковчег,  
где несется лыжник бешеный,  
и пошлепывает снег,

белый с красными рубахами.  
И, петляя голубым,  
он, крест-накрест перепаханный,  
станет облаком рябым.

Что-то в облаке готовится  
с каждым воздуха щелчком.  
День не сразу остановится,  
закрутившийся волчком.

*1977*

Больше недели хозяин небрит.  
Газом бесплатным натоплена кухня.  
Странно он пахнет и долго не тухнет,  
точно ружейное масло горит.

Что бы такое себе намешать  
и до утра не держать караула.  
Ты закатился в ружейное дуло.  
Как тебе снова не газом дышать?

Душно. И так выпрямляется грудь,  
словно растет погребальная урна  
с тьмой неоконченной, краснофигурной,  
что кого хочешь должна обмануть.

Там примирился невольный отказ  
с ропотом вольным. И время тянулось.  
Но не осталось таким, обернулось  
братоубийственной скукой для нас.

*1977*

Земля и здесь так сбита и примята,  
что ни морщинки — впору козырять.  
Зачем нам эти глыбы в три обхвата  
и навсегда затоптанная гладь —  
во всю длину бескрайняя заплата.  
Зачем так жить и на себя пенять,  
и молодеть до мальчика-солдата?'

*1977*

· Полусон. За ним покоя  
мешковатая возня,  
а за ней растет такое,  
что в окраины теснят

Даль открылась. И роится  
впадина в дали пустой.  
Шевелится, шевелится  
темнота над темнотою

Как смертельного захвата  
ночью ждешь ее пяты.  
Пустота шероховата,  
это хуже пустоты

Это хуже, чем истома  
и внезапный перебой —  
все до окрика знакомо,  
что выходит за тобой

Но как будто невредима  
от попутных голосов  
та пустая середина,  
повернувшая на зов



Вижу, как перетрясти  
слово до простого взмаха,  
как речной озноб снести  
выпрямляющего страха

Вечер, холод и озноб.  
Тишины растущий ропот.  
И опережает опыт  
сердца тонущий галоп.

*1977*

Попробуй сразу удержать  
все бесконечное «теперь».  
Так успокоилась душа,  
что больше не глядит на дверь.

И каждый опыт, каждый шаг  
через «пусти», через «уйди».  
Похоже, никогда никак  
не лопнет обруч на груди.

Мы тут оставлены вдвоем:  
один — задымленный насквозь,  
другой — проглоченный живьем,  
сменявший совесть на «авось».

*1978*

Если я хоть едва заметен,  
если я оставляю след, —  
сколько в воздухе странных петель!  
перепутано, места нет

Это волосы Гулливера,  
все в бесчисленных узелках,  
искривление глазомера,  
ты, восьмерка, кружной размах

Как поверишь теперь, что где-то  
белый свет не стоит колом.  
Я в кольце лобового света.  
Стены съехались за столом.

Все вплотную. Но мнимый голод  
не пускает менять места.  
И судьба перед этим голым  
светом выборочно пуста —

только блажь или только благо  
(черным вывернута зима),  
только жизни печная тяга —  
тянет вверх, не сойдешь с ума.

1978

Прошу: оставь меня, оставь  
меня, как есть. Какая сила,  
не отпуская сердце вплавь,  
его как глину развозила

Еще меня на свете нет,  
и расходившаяся скука  
готовит месиво примет.  
А ну-ка, Господи, а ну-ка

Я стал собою, не успев  
прийти в себя. От всех попыток  
прихлынет сердце, ослабев, —  
но короток его избыток

Весь уместается в края,  
как будто больше и не надо.  
Но эта пригоршня — Твоя  
тоски, отбившейся от стада

1978

Машинописный зубовный скрежет  
твой и сейчас в ушах.  
Если отмерят меня, отрежут,  
если и скорешат  
с кем-то на какое-то время  
в новые времена,  
знаю, что первый свой верхний гребень  
пережила волна.

Там ли я не воскресну, или  
тут не совсем умру,  
но никогда уже всех, кто были,  
вместе не соберу.

И никогда не замкнется полный  
круг за одним столом.

Мне от тебя скрип зубовный  
через месяц письмом.

*1978*

Все завершается единоборством  
хлебного мякиша с воздухом черствым.  
Как на глазах дешевет сырье —  
окаменевшее время мое.

Времени нет, и давно не на месте  
местное время. В повальном отъезде  
полузаметен как «будьте добры»  
гибельный ход самодельной игры.

Вот как себя открывает начинка —  
солнца дерюга и неба овчинка.  
Вспять обнимает тебя пелена.  
В солнце свое завернешься сполна.

1978

Голова как в легкой феске.  
Поверни ее кругом —  
ритуальные нарезки  
реют в небе голубом.

Даже воздух, как ни хрупок,  
неподатлив, а на нем  
столько сделано зарубок —  
кто заблудится, вернем.

*1978*

Ходасевич — скрип уключин.  
Я его переиграю:  
вовсе голос обеззвучу.

И тогда пойду по краю  
черной мошкой, мелкой сошкой,  
проводатым на мякине,  
или под одной обложкой  
с восемнадцатью другими.

*1978*



## Начало поэмы

Не горящей записью мгновенной —  
все, похоже, началось с изнанки.  
Здесь, в пяти минутах от Таганки,  
в рюмочной напротив пельменной,  
где идут колбасные обрезки  
к недолитой рюмке как нагрузка.  
Возле тростниковой занавески  
началась особенная музыка

Рыжий нам поставил сто на брата  
и завелся на больные темы.  
В общем все на уровне плаката,  
но темней. Коричневые стены  
кое-где блестели тускловато,  
спинами повытертые. Нет уж.  
Наше вольнодумство отчего-то  
иногда работает как ретушь —  
очерняя, скрашивает фото.  
Темнота сгущается. Похоже,  
что и мы попались на обманку:  
не меняя, высохшую кожу  
выворачиваем наизнанку.  
В этом поле я уже не воин,  
объясняю только честью флага,  
что кого-то держит за живое  
плохо подрисованное благо.

1978

Мы смотрим в сон как в темное окно  
И в схеме необъятных искажений  
шевелится их будничнй чертеж,  
не прерывает скрученных движений  
при свете, стянутом в тяжелое пятно.  
Еще сильнее щупальцы, а дрожь  
неведомей, но тех же напряжений  
разлитие и с ними заодно.

В насильный путь пускается душа  
и рядовую тянет мешанину.  
Всею тяжестью выкладываясь в шаг,  
курсирует как земляной червяк,  
собою вымеряющий равнину.

1978

Еще не успеешь подумать с повинной  
о том, что на свете один с половиной,  
подумать о том, что почти одинок —

Вздыхает подушка. Плетется венок.  
Пустая мечта вышивается гладью.  
Но вот открывается муж под кроватью.  
Но вот из-за шторы проглянет сынок.

И снова скребет, заедая, пластинка.  
Кто, двери ломая, ворвется: ку-ку!  
Такая болтанка, такая волынка,  
где верная гибель ведет к пустяку

*1980*

Вот накатятся недели  
с именинами друзей:  
вместе — райские метели  
и пустая карусель.

Малый тающий народец  
(—Убери пустой бокал!)  
Свет, ныряющий в колодец.  
Я другого не искал.

Обломилось мне однажды.  
С этим грузом позади,  
с этой памятной жаждой  
поздно по-миру идти.

Год — и новая прореха, —  
все равно не залечу.  
Понукающее эхо  
впереди себя качу.

Тесноты ли домовитой  
раскаталась колея? —  
Кто назвал ее обидой?  
Кто позволил? Чур, не я!

*1980*

Будь осторожен: нельзя попадаться навстречу  
тем костылям. Не смотри на продавленный мячик.  
Лучше свернуть, не ответить. И чем я отвечу  
на вымогающий ужас без права подачек?

Липкая лента сбивается в яме кровати.  
Ватное небо, как будто заложено горло,  
если успеешь увидеть картуз на асфальте,  
старое платье, подставку без птичьего корма.

Как неразборчиво к сердцу подсыпали крошек.  
Как своевольно, как плохо она мне служила —  
смертная жалость, которой я был обморожен  
в детстве,

пока не достало тюленьего жира.

*1980*

Не в печной трубе, а в газовой,  
верно с первого этажа,  
тихо шепчут или подсказывают,  
или голосом сторожат.

Ходит гул по железной флейте —  
сторожика твердит свое,  
или мысленный слабый ветер  
там гуляет и так поет.

Не пугает и не забавит  
голосок неизвестно чей, —  
перепевы кухонных баек  
и позвякиванье ключей.

Но каким-то последним звоном  
все приманивает к себе,  
неуверенным угомоном,  
просочившимся по резьбе.

*1981*

Забываясь, куда девается,  
если мука, найдя закон,  
осторожно не прививается —  
все кончается столбняком.

Но, задавленная, зажатая  
отупением новичка,  
оживает, когда расшатана,  
просыпается от толчка.

И среди ущемленных душ  
самый край завывает: куш!  
самый край, задержавший душу  
на спасительном и своем,  
притупившийся острием,  
раздувая в себе кликушу.

На окраине ищет боль  
обвалиться в пуху и перьях,  
поделиться сама с собой, —  
на доступных уже потерях  
принижая начальный сбой.

1979

Не на памяти блудной, на чем? на другом  
продолжается дружба со старыми снимками,  
все равно обгоняя один перегон,  
где и так нам положено жить с невидимками.

Не навек, не навечно, не верю, что век  
тем и кончится. Или длиннее, чем кажется,  
или он не кончается. Это разбег.  
Или тень — теневое движенье калек,  
полосатую явь примеряющих заживо.

Или это палатка, зеркальный загон,  
где один, повторенный в едином движении,  
и себя потерял, и почти не знаком  
с непонятными теми, кто пляшет кругом  
в бесконечно-далеком своем размножении.

1979



*Н.П.*

Глянь по атласу: куда  
мы сегодня не уедем?  
Ходит ловкая беда  
как цыгане за медведем.

То до времени гурьбой,  
то опять поодиночке  
кто нас водит за собой  
на таможенной цепочке?

И, сквозную пустоту  
на цепочку запирая,  
ты уходишь за черту  
точно в пригороды рая.

*1979*

А где тот человек, что нам оставил ворох  
изрезанных газет и дес'тилетний сор?  
в дырявом пиджаке, в опорках за семь-сорок  
уехал под забор.

Что, каково ему на итальянской даче,  
на римском пикнике,  
пока он дорожит единственной удачей —  
исчезнуть налегке.

Что б вывезти на вес в разорванном пакете  
с запасом сигарет?  
Где б погулять ему, пока на этом свете  
не выключили свет?

*1980*

С.Ф.

Это откуда? оттуда, вестимо.  
Это на фото привет от кого-то.  
Это оттуда, из города Рима  
выкройки чуда —  
скатерти неба, чужая столица  
где-то внизу

Можно и за-морем жить как синица, —  
спать на весу,  
пени платить своему долголетью  
с каждого дня,

розовой медью  
розовой медью  
в небе звеня

1982

За пробором два хвоста  
на заколках-невидимках.  
Непонятна и проста  
как история в картинках.

У нее шампунь с утра.  
Через несколько мгновений  
оживает в мыльной пене  
медицинская сестра.

Новый профиль завитой —  
польская реклама.  
Надо бегать за водой  
в магазин «Светлана».

Там стоишь, к стеклу прижата  
наведенной синевой.  
Быть тебе моей вожатой.  
Не вожатой — звеньевой.

Ты врачебным молоточком  
бьешь по нервам, бьешь по точкам.  
Я здоров, надеюсь? —  
ясельный младенец.

1981

Сердце заперто на балконе  
крепко-накрепко — вор в законе  
проживает, неуловим.  
На балконе дрожит и лает

Я свидетель, что не бывает  
у желания половин.  
За пробелы, за пол-беда,  
за одно промедленье втрое  
отдается. И роет, роет.  
По живому ведет ходы  
муравьиного домостроя

*1981*

## Внутри кита

Стараюсь думать о своем,  
но между прочим  
я понимаю, что живьем  
когда-то был проглочен.

Не надо думать: это кит.  
Ну, сделай вид,  
что просто заперся.  
Ну, захотелось в тишине  
составить из попутных записей  
письмо жене:

«Одолевает духота  
внутри кита».  
Зачеркнуто. «Представьте, я в пещере!  
А привела меня сюда  
боязнь открытых помещений».

1982

Не боюсь признаться в червоточине

Как мужик, застрявший на обочине,  
поневоле тащится вперед —  
старостью раскрашен под индейца,  
оторожной поступью надеется,  
иноходью греется — живет

Так и я, несвежих полотенец,  
кучки пепла автор и владелец,  
не спешу проветриться. Увы!  
И надеюсь, что еще не скоро  
шапками последнего разбора  
закидают выше головы

*1980*

Разлинован на грядки  
подмосковный лубок:  
заводские початки  
и фанерный грибок  
у спортивной площадки,  
и большой коробок  
придорожной столовой —  
все для ровного счета,  
для печати лиловой  
на книге учета

И такой же страницей  
развернулась земля,  
а по ней вереницей  
штемпеля, штемпеля

Но темно и неясно  
как в хвойных лесах,  
где до вечера, засветло  
тьень стоит на часах

Где заметное черное?  
Или белое где?  
Их последние зерна  
развели на воде

Все лежит по карьерам,  
по разбитым корытам  
безнадежно размытым,  
недостиженным, серым

*1980*



Нет преграды и нет стены.  
Земля, стекая, как стол легла.  
Не видно краю его длины,  
и крыша воздуха тяжела.

Равняясь, всякий сравнится с ним.  
И не он ли всему свояк?  
Его любой назовет своим,  
сам останется в сыновьях.

Ведь это он высевал зубцы  
на пустой богатырский стол.  
И встали новые молодцы,  
где сам-десять, а где сам-сто.

Современнику пойдй скажи:  
ты молочных зубов посев.  
Себя до корня не искрошив,  
ты не вырвешь себя у всех.

Будь ты воин — пусть, и свидетель будь  
или с легкой душою вор —  
и в дорогу скор, а в беду обут,  
и сильнее себя хитер.

И сказать, какая душа легка,  
чтобы с нами дышать и есть?  
Груз потерян — вес не исчез пока.  
Истекая, не вышел весь.

1982

Тыльная копоть, походная грязь, —  
все, без чего невозможно работать,  
вмиг отдается как пробная казнь  
вроде изжоги — подушная подать.

Видно, проглатывать паука  
время от времени необходимо.  
Эта наживка и так велика —  
не говори, что тебе не хватило.  
И не у совести, черной дыры,  
спрашивать мне огонька и совета.

В солнечный омут московской жары  
въелся тоскливый душок лазарета

Раз окунувшись в дебелую ночь,  
так, с головой, завернуться халатом —  
тоже забота. Но лучше не надо  
мертвые запахи в ступе толочь.

Видишь, меня разрывают на части  
блажь и бессилие — адская смесь.  
Дальше, надежда. Оставь меня здесь.  
Мимо ступай себе, свет мне не засти

*1980*

**1986 — 1992**

Эпос, возьмите эпос.  
Отдайте ребус.

Что мне эпоса клич:  
Пал Ива-аныч!  
Илья Ильи-ич!

Плод ума (многоточие) род клейма.

Издалеку не виден  
след рунического письма,  
стершееся граффити —  
имя, названное внутри,  
сеткой идет по коже.

Первый же камешек подбери,  
и сразу прочтешь: «я тоже».

Море мое с полосатой волной!  
Суша! бедная суша.

Море спасается глубиной,  
а сушу зовут Павлуша.

1986

Чтобы выйти в прямую безумную речь.  
Чтобы вырваться напрямую.  
Не отцеживать слово.  
И не обкладывать ватой.  
И не гореть синим пламенем культурной  
деятельности.  
Нет, я не есть большая культурная ценность.  
Я не есть человек культуры.  
Я — человек тоски.

О, тоска.  
Единственное мое оружие.  
Вечная вибрация,  
от которой кирпич существования  
дает долгожданную трещину

1985

## Подстрочник

Что-то там происходит за мутным стеклом,  
за преградой, запотевшей от моего дыхания.  
Из подсобок и чуланов твоей жизни есть  
неизвестный ход  
прямо на черную улицу.

Ты меня никогда не увидишь, потому что я  
статичен.

А тебе нужны движение и смена стоп-кадров,  
ускорение и обрыв, и новая лента.  
Нужны пульсации цветных огней,  
бескровное зарево ночного праздника,  
лихорадочное столкновение чувств.

Ради того, чтобы меня не видеть,  
ты пойдешь на сделку с самой дурной сумятицей.  
Но темный ее осадок ты так научилась  
взбалтывать,  
что душа остается чистой.

1985

Незаметные перепады дней  
от удачи и до молчания.

Все труднее, все легче становится.  
Все трудней.  
Все нелепее и случайнее.

Посмотрите: лицо без речей.  
Посмотрите! Лишенный владельца  
чей-то голос. Наверно, уже ничей —  
низко стелется. (Все перемелется).

И поет как вода под напором,  
так же тонко и так же внезапно,  
убеждая: «я ворон! я ворон!»

1985

Это правда. Это знак и ответ.  
И награда как за выслугу лет,  
возместившая не возраст, а стаж.  
Облегчение, какое ни дашь.  
Гоп со смыком — вот такая печаль.  
Ну, ты что? ну, перестань. Ну, кончай!  
Это правда, что печаль коротка.  
Да и радости не больше глотка.

1985



Вот и открылось.  
Все двери открылись, все дыры.  
Сильно задуло.

Нечто, имевшее вид квартиры.  
Нечто, имевшее ножки стула.  
Спинку кровати. Силу привычки.  
Знак спасительного отпора,  
говорящего (если ввести кавычки):

«Не сегодня. Еще и не очень скоро».

Или жизнь от какой-то неведомой скрытой тяги  
облетела. Остался один скелет.

Оглянулся вокруг,  
а вокруг ничего уже нет.  
Просто чистое поле,  
по которому носятся то ли бабочки,  
то ли обрывки бумаги.

1985

Мы состояли как бы в одном ЛИТО,  
но общались с пятого на десятое.

Что-то за ним водилось. Да мне-то что?  
Мало за кем когда не водилось всякое?

Только в зрачках уже стеклянел мираж.  
Молодой еще, а казалось, что моложавый.

Иногда играл. Временами впадал в кураж,  
и тогда страну, не гнушаясь, считал  
державой.

Он любил учащихся ПТУ.  
Он любил актеров и не любил евреев.

Вот поэтому? Вовсе не потому.

Потому что медлил, а все раскрутил скорее.  
Потому что умер несколько лет тому.

1986

## Гость

Это оборотень. Его выдают глаза.  
Из существ совершенно другой природы.  
У него запойная полоса  
набирает полные обороты.

Мутный Кеша или Ордов ушастый  
все же люди. И понятно, какая связь.

Ну, приходит пьяный козел — ну, здравствуй!  
(А рассказчик, спорщик козел прекрасный  
и со всеми уже вась-вась)

Но такой впервые светильник разума  
просиял за моим столом.  
Я приветствую белоглазого:  
Здравствуй, чудище. Мой поклон.

Вот и ты, человек из витрины —  
улыбка педрилы, чужая спина.

Повинуясь чему размножаются люди-колбы?  
Как заметна разница. Как пронзительна новизна.  
Человек толпы.

И уже набегают толпы.

Ничего не вижу, а слышу одно «ату!»  
Налетят-навалятся, с криками, с лаем, с лязгом.  
На живую душу, на гордую доброту,  
на тебя одну каждый из них натаскан.

1986

Кто помнит, что за зверь «гилярная лиса»?  
Была такая в жизни полоса.

В настольной книге расцелован каждый лист,  
и не словами, а цитатами клялись.

Все настоящее, все выписки из книг.  
Погиб поэт — отравлен ученик.

Возьми подарок. Так он жег и так саднил —  
не поделиться ни с одной и ни с одним.

Цитаты кончились. Былого не вернешь.  
На темный день отложен черный грош.

Свое колотится на проволоке белье.  
Чужое кончилось, и все вокруг свое.

Куда ни плюнь, везде свои дела.  
Не хватает духу. Не хватает зла.

За поворот — и кончился обзор.  
На край земли выходит робинзон.

Не всюду жизнь. Как жить? Живите так,  
как вам приказывает стиснутый кулак.  
Слепой прицел. Живите, изготовясь  
на первый случай. На случайный знак.

Живите так, как вам подсказывает повесть.

1986

Караул кричит «караул».

Караул устал  
век выстаивать. Место не для парада.  
К памятным датам или святым постам  
надо выстраиваться? не надо?

Всякий бы рад рыскать по тем местам,  
где он ни разу не был.

Сам человек сусликом засвистал  
как под открытым небом.

Сердце не выпустишь погулять,  
не блоха на аркане.  
Целое дело. Целое поле — глядь —  
с мыслящими зверьками.

1986

Все наверх, товарищи.

По команде «полный каюк»  
встать навывтяжку вон перед той волной.

Не лицом к лицу, а к спине спиной, —  
от спины к спине перестук.

Мир такой, что ни взять нельзя его,  
ни оставить таким как есть.  
Показался и вышел весь.

Гости мира! не надоели ли вам хозяева?

Снова сходятся, шапки кидают в круг.  
Их цена последняя, страшный сон.  
Вор на воре, оптом скупают, с рук.

Лучше к черту в ступу и к негру в печь.  
Не себя узнать, так других сберечь.

О, к чужой печали припасть лицом

Но лежит за пазухой как змея  
злость, какую нельзя терпеть.  
Гости мира! Рассеянная семья.  
Теплый воск, по которому ходит плоть

1986



Гражданин вселенной.  
Гражданин Бутырок.  
Обликом притырок.

Разговор отменный.  
От него осталась  
черная усталость.

За такую силу  
утаенных строчек —  
пропуск одиночек.

Узелок событий.  
Смелая развязка.  
Больше не зовите.

Дальше невозможно.  
Больше нет, не надо.  
Ничего не будет.

Только заморочит.

Оглянуться тошно:  
койка да палата.  
А чужих не судят.



И живет как хочет —  
новизна бесплатна,  
радость необъятна —

на себя надеясь,  
про себя готовясь.

Расставаясь то есть.

*1986*

Жизнь души. Душа сотрясается как листва  
под дождем или — редко — под летним ветром,  
задыхаясь от грозного торжества.

Представь, что ты дерево под дождем.

(А ведь так, наверно, и есть)

Представь, что это и есть ночная печальная правда.  
Сразу многое объяснится.

Или вспомни гнездо потревоженных ос:  
гулкая дрожь под пепельной оболочкой,  
круговорот событий.

Сразу многое объяснится.

Многое, но не все.

Окно. Окно, открытое в сад.

Сад сияет.

Облака волокнисты или фарфоровы.

Но это не выход.

1986

— Ты послушай вот, что тебе скажу, —  
говорит душа.

— Я который год за тобой слежу,  
на счету держа  
(говорит душа).

А узнала лишь, как ты плохо спишь,  
как ты воду пьешь.

Ешь да пьешь, да себя казнишь.

О, господин,  
не живи один —  
пропадешь.

Говорю душе:

— Вон от той черты до вон той черты  
никогда уже не ходить гурьбой.

Только я да ты  
(говорю душе),  
только мы с тобой.

Не беда, не суть, что сжимает грудь,  
духотой грозя.

И хочу сказать: отпусти, забудь.

А уже нельзя.

1986

День, когда в воздухе носится  
особенно много молекул мрака.

Я выхожу на прогулку по Чистым прудам.

Там бы и жить.

Серый патруль у стекляшки проводит опрос  
длинноволосых. Осень-не-осень-весна —  
смутное время. Подбросить,  
выронить — и не покатится, не зазвенит.  
Канет. Звук пробивается сквозь  
шумовой отлив:

гул голосов, окликанья, шорох. Что там гудит?  
Там, наверху?

1986

## Мы оба

### 1

Рекрутируя из неизвестных лиц  
блиц-турнир... Короче, сведя их вместе —  
трех друзей, шестерых девиц  
с восемнадцатью на подъезде,  
самому исчезнуть. Игра с шестью  
вариантами (все впустую),  
чтобы всех под одну подвести статью.

Я устал и больше не протестую.

### 2

Я неловок в денежных единицах.  
Признаюсь, политик неважный. Каюсь.  
Виноват — разрушена вся грибница,  
на которой вырос я, не сдвигаясь.  
Если плыл, то как на большом пароме,  
в тесноте великой, немного с краю.  
Я хочу припомнить, глаза закрою...

Виноват, я жил в караван-сараяе.

### 3

Нет, легко сказать, а поди достань  
до слепых глубин, до границы стоячих вод,  
где кольцо ликующих рыбьих стай  
наблюдатель не застаёт,  
где один перекачивается по дну  
искалеченный батискаф.  
И выпускает фосфорную тишину  
сердце, сдавленное в тисках.

### 4

Вот когда мы научимся щебетать,  
на гитаре играть,  
пить коктейли, стоять анфас,  
по ролям разучим чужую статью,  
чтобы корчилась вместо нас,  
и когда получится без помех  
отрываться одним прыжком,  
вот тогда и пустятся снег и смех  
золотым лететь порошком.

*1986*

Я надеялся, что речь  
поведет меня сама

Я надеялся, что мысли,  
нарисованные чисто,  
станут ветром у реки.  
Как верхи в конце регистра —  
и легки, и глубоки.

Я надеялся, что ветер,  
завербованный на праздник  
продолжения вещей,  
станет чище и опасней,  
как пословица — ничей.

Так по молодости мило  
получался этот фокус:  
то из шапки голубь мира,  
то из пепельницы Логос.  
И откуда что бралось!  
От привязчивой погудки,  
от задумчивой погодки  
и от запаха волос.

Век живу, а все надеюсь.  
Боже, ну куда я денусь!  
Как надеяться, что опыт  
принесет забытый клич?  
И, подманивая Музу  
на кивок, на свист, на корку,  
скажешь: «Милый, это дичь».

Где-то в воздухе особом  
иногда приятным лаем,  
иногда посильным зовом  
оживляем панораму.  
Тихо воем против ветра —  
панораму оживляем.

.....  
Теплый день. Глоток кагора.  
Скоро лето. Лето скоро.  
Дело к Пасхе.  
Непросохшее Кусково,  
и на глинистой дорожке  
след коляски.

*1987*



Есть один уголок, где Москва  
привстает от удушья.  
Все в поту, зеленеют едва  
деревянные ружья.

Где всегда на углу в мастерской  
дожидалась закуска,  
самый лучший закат над Москвой  
от пологого спуска.

Там теперь, надвигаясь, стоит  
беломраморный пудинг.  
Нам, наверно, поставлен на вид.  
Нет, мы больше не будем.

*1987*

Поделенный на бледный верх и на темный низ,  
уходя от всех, обязательно оглянись.  
Расскажи свое содержимое.

Оно достаточно растяжимое.

Было младшее старшее.  
Было бывшее ставшее.  
Вянет бывшее, став небывшим,  
исчезать начинает.

Как твое ничего, чем дышит?  
Как оно поживает?

Как-то в общем, почти не очень.  
Где-то рядом и между прочим.

Тех, чья молодость чуть брела  
в сторону от отъезда,  
не расспрашивай, как дела.  
До сих пор им пустое место.  
Все им кисло и все им пресно.

1987

День мой. Пух тополиный  
и то тяжелей.  
Вянет, липнет,  
как будто разлили клей,  
воздух. А душа тяжела, темна.

Где ты, радость на пять минут  
от негреющего вина?

Вот идет человек.  
Улыбнется и спичку попросит.  
Так меня бы несло, заносило — привет! —  
как земля его носит.

Нет, не жить нам как все.  
Взгляд сторонний, горячий всхлип  
в поле ночном, у придорожных лип.  
Только двор проходной, дом пустой, палисадник,  
на понуром ветру сохнувший за «спасибо» —

Сила нелегкая! ты бы не подкосила.  
Только с тобой, только в твоих касаньях.

1987

Поздним вечером  
Вечером меченым  
Вечером вспученным  
Переулочком неизученным

Ток-ток дождь и дождь впереди  
Под ногами поток  
Моссовет отменил такси

Плащ промок. Зарядил на год.

Страшный частник, живой огонек,  
старший чайник — притормози!

Ночью выйти с дырой в груди  
Не расскажешь, как светится переход  
Как тоска пломбирует рот

*1987*

Зажигаются лампочки. Комнаты все полны  
чудесами, объятьями и драками.  
Хороводят мазурики новой волны  
и по стенам развешивают каракули.

Это что нам показывают? Как волна  
опадает, и остается тина?  
Или это обрывки дурного сна  
в мир выталкивает картина?

И в каком-то очерке, всех бледней,  
беспокойно тянущемся к изъяну,  
узнается сонная явь слепней,  
прозревающих пасмурную поляну.

*1988*

## На разные голоса

Надо мною ворон кружит  
и со мною ворон дружит  
дружбой вечной кочевой,  
бесконечной бечевой.

Тихо-тихо,  
долго-долго  
рассыпается картонка.

И другое измеренье  
выворачивает складки  
ненадежного жилья.

Муха села на варенье  
и облизывает лапки.

Вот и я.

Лист желтеет, лес чернеет,  
день короткий цепенеет.

А вдали все тот же ворон  
сам себе, но как бы хором,  
распевает «Сулико»,  
посылает далеко.

«Шел бы ты куда подальше.  
Шел бы ты сюда поближе.  
Подходи же, наливай же.  
Не смущайся, подходи же.»

Только нищий неподсуден.  
Я приглядываюсь к людям,  
остающимся людьми.  
Понимаешь, мне важна  
несмешная ворожба.

Несподручно, несподручно мне, пойми.

В темноте сияют пятна.  
Все без подписи понятно.  
Все прозрачно как слюда,  
будь ты слеп на оба глаза.  
А теперь смотри сюда:  
это крестик. Знак отказа.  
Подпись тайного суда.

«Теплых, сонных не буди.  
Слабых сердцем не щади.  
Не щади судьбу с оглядкой.  
Не щади любовь украдкой.  
Пусть они пройдут как дым —  
по заслугам будет им.»

*1988*

Ранний час, а стемнело так,  
что ни строчки нельзя прочесть.

Был ведь, помню, какой-то знак.  
Был или есть?

Не свисток милицейский же мне провинтил мозги,  
не начальник сдуру вlepил печать.

Что вокруг не видать ни зги,  
не мешает уже ничуть  
за двоих на лавочке поскучать.

Расползается на куски  
свет, умеющий отвечать.

Но ведь был же какой-то знак.  
Вижу взятую на испуг,  
запеленутую толпой  
жизнь. Но был же какой-то звук!  
Кто-то мыкается с тобой.

Видишь: ночь отступает вдруг.  
Видишь: лифт изрисован весь.  
«Здесь были Вовик и Константин».

Знай, они уже были здесь.  
Помни, ты уже не один.

1987



А земля живет как в последний раз.  
Где она асфальт, где она атлас,  
где она балласт.

Через все затейливое уныние  
не заметил, желтая или синяя.  
Словно зренья пустил на ветер —  
не запомнил и не заметил.

Ровная линия за окном.  
Вот она родина, общий дом.  
Или это облако моя родина,  
на глазах расходится волокном?

1988

**Здрасьте-здрасьте!  
Битте-дритте! — пели ножницы.  
Подравняем-подстрижем, какая разница!  
И красиво некрасивое уложится,  
серо-бурое серебряным окрасится.**

**Зашипит одеколон из груш оранжевых  
довоенного особенного качества,  
и приклеется отхваченное заживо,  
или вырастет отрезанное начисто.**

**И легчайшее сквозное напряжение  
по затылку проскользит в одно касание.  
Вот исполнено твое распоряжение,  
а еще какие будут указания?**

*1988*

Ах, это было здорово! весело, весело.  
Ах, это было невесело, — ужасно, ужасно.

Это было какое-то месиво  
слухов, событий, зависти, чистоты,  
нежности, зависти.  
Смена страшных ночей и сказочных,  
света и духоты.

И уже не тайна, что выпили чистый яд.  
Господин хороший, куда ж нас теперь велят  
на закон укороченный?  
Господин хорунжий, товарищ уполномоченный!

Даже то, что пряталось, шло в стадах,  
не всегда нелепо. Что-то почти красиво.  
Неужели мы жили за просто так,  
вычитаясь вон как одна рабсила?  
Столько лет к дисциплине нетрудовой  
привыкали ох, как мучительно,  
взад-вперед в конвульсии родовой.  
Холодно-горячо. Горячительно. Исключительно!

Слава тебе и хвала тебе, каждый,  
что-то вписавший остатками языка.  
Славен голод писчебумажный  
всех, унесенных за облака,  
чудом спасших себя от жажды  
умереть-уснуть и не быть,  
не бывать пока.

1988

В сон затекает мелко  
утренний холодок.  
Белка мне снилась, белка.  
А разбудил свисток.  
Надо ли от озноба  
вздрагивать по утрам?  
Завтра увидим снова  
псарню во весь экран.  
Вьется тупей ретивый.  
Брыла дрожат всерьез.  
Свежие директивы  
лает дежурный пес.

Скоро пробили сроки.  
Снова остался мне  
правый уклон, глубокий,  
набок лицом к стене.  
К суточной перебежке  
и повернуться лень.

Белка моя орешки  
прячет про черный день.

*1988*

Опять вплотную об отъезде,  
а мы покурим, постоим.  
Так долго я стоял на месте,  
что место сделалось моим.

Переодетый, чем-то схожий  
с «искусствоведом» на посту...  
И перекрестится прохожий,  
ударившись о пустоту —

Здесь я стоял

*1989*

Свежая ассигнация  
не раздражает хрустом.  
Сам ты как тень Горация  
странен и необуздан.  
Светится декорация  
нравственного скитальчества  
(избранные места):  
скверик, лишенный качества,  
лавочка занята.  
Встретишь разрушенное заранее  
хрупкое собственное изваяние,  
не похожее на людей,  
но подобное урнам, вазам.  
Как его ветер смазал!  
вся природа дала плетей.

Только что сердце легко дышало.  
Тучка какая-то набежала,  
все принесла твое.  
Вот тебе дождик скверный.  
Вот тебе щит фанерный.  
Истина, тень ее.

1989

Поговори, посиди-ка хоть ты со мной.  
Тонким лучом светит глазок дверной.

Как своего незаметного домочадца  
мы проводили с пением батарей  
долгую эру беспроигрышных лотерей.  
Так и не вспомнили попрощаться.

Там обесцвечены огненной вспышкой блиц  
первые ласточки с видами заграниц,  
с правом на выдворение,  
там коньяком и соком течет земля,  
дети растут быстрее чем векселя,  
и на деревьях киевское варенье.

Как ни посмотришь, а все-таки сверху вниз  
новая эра через отделы виз  
так обращается к долгожителям:  
«Или не всем утешительный выдан приз?  
или не слишком он утешителен?»

1989

На одно окаянное домино,  
где зевок проходит как самострел,  
на еще не опознанное пятно  
я смотрел. И, кажется, просмотрел.

Загляденье. Сияние медных блях.  
Черт-те что, бормотание при луне.  
Как обидно: ни при каких нулях  
мы не будем грамотными вполне.

Неживое точит меня и ест,  
а живое просит: не истязай!  
Скоро, скоро ведущему надоест.  
Командир опомнится — «вылезай».

Кто же против? Положим, не повезло.  
Скажем, было, но не по моей вине.  
Затаился, как будто себе назло,  
загляделся. И что тебе в том пятне?

1990



Есть люди — так удачно живы,  
что принаряжены вдвойне:  
они свободны и служивы,  
они женаты не вполне.  
А наш герой одной заботе  
послушен. Чист как рафинад.  
И не служив, и не свободен,  
а где свободен, там женат.  
То жизнь ему одна растрava,  
а то судьба ему расплата,  
но в записи домоуправа  
живет как будто так и надо.  
Он дальний родственник закона,  
но также свойственник востока.  
Поскольку все ему знакомо,  
он не обманется жестоко.  
Он видит: солнце на закате  
сияет золотом в мазуте,  
и этим надо любоваться,  
не просто так стоять плеватьcя.  
А рядом старый большевик  
гуляет с пенсионной книжкой,  
ему неловко, он привык  
все сущее держать под мышкой.  
Размером не крупней пилотки

выводит птица в поднебесье  
один мотив метеосводки.  
И мы услышим эти песни,  
сажая скромные бархотки.  
И жизнь невзрачна как былинка  
или черна как керосинка,  
тиха, пока не вышел срок.  
Но будет время — кот ученый  
в глазок заглянет закопченный  
да и раскрутит фитилек.

*1988*

Хмурые липы в пятнах кудрявых впадин,  
траурный ряд.  
Речь неясна, но разговор понятен.  
Знаками говорят.  
Серый туман с пиками черных елей  
в царстве твоём.  
Мы подпоем, правда, давно не пели.  
Знаками подпоем.

Это ли сын уходит, голову прячет,  
плечи свои сужает?  
Это ли дочь  
наскоро плачет и уезжает,  
падает в ночь?  
Этим, в слезах хоть выжми,  
ветром носимым,  
меру, меру такую вышли,  
чтобы по силам.  
Снова как на перроне  
«прощайте» машем,  
«здравствуйте, мир огромен,  
кланяйтесь нашим».  
Мука твоя свобода,  
пуще неволи.  
Нового ждет обхода.  
Буксует что ли?  
Светится в легковых,  
летающих мимо.  
На во-вторых, во-первых  
неразделима.

1989

Что я делал все время?  
Я изживал свое время.  
Я измышлял свою душу,  
чтоб скорее, скорее  
грела как батарея, —  
непонятную стужу  
выталкивала наружу.

Только вот что мне ни предстоит,  
что там ни затевается,  
стужа стоит стоит,  
никуда не девается.  
Так и не понял я, почему  
холодно мне в ледяном доме?

А наверху Игорек-мой-свет  
все что-то возится, ковыряет.  
Нет, он не сводит меня на нет,  
просто он времени не теряет.  
Дни за днями встают рядком.  
Он работает молотком.  
Пилит, строгают.  
Стужа его не пугает.  
Всю субботу и все воскресенье  
он выстукивает спасение

1989

Это время тикает и стрекочет,  
на мышинной пробуется войне.  
Все, что днем ушло и забылось, к ночи  
отыграет вновь на одной струне.

И как будто мне рукава зашили,  
навели поддельную хрипотцу.  
Лихорадка трогает сухожилья.  
Паутинка бежит по лицу.

*1989*

Что сегодня розовое к лицу,  
что сегодня правильное в почете,  
расскажите бывшему мертвецу,  
до конца стоящему на учете.  
Неужели он не поймет, злодей,  
что удушен временно, не нарочно.  
Что пока идет санитарный день,  
и еще нельзя, но вполне возможно.

Надоело кланяться до земли,  
у земли-хозяйки снимая угол,  
видеть тех, кто вчера цвели,  
превратившихся в сонных кукол  
(не поймешь, когда они так смогли),  
вроде комнатных черепашек  
угасающих по углам.  
Знайте наших. Узнайте наших.  
Их не видно по их делам.  
Мало места в родных пенатах,  
много времени — как в плену.

Крест поставлю на этих датах,  
а не хером перечеркну.

*1989*

...и, как верно замечено,  
было — солнце светило, было — дождь моросил.  
Так казалось всегда, что просить-то и нечего.  
Вот поэтому я ничего не просил.

Выходил из гостей как в окно Подколесин.  
Пахнет йодом постель, но не морем.  
И попробуй сказать: всякий опыт полезен,  
переложенный горем.

Перегаром шибает, гремит силомером  
отдыхающий сад.  
Если даже захочешь ходить за примером,  
не вернешься назад.

Врассыпную с дружками в неведомом чине  
на шумок, на «атас»  
разбегается ночь. И по этой причине  
я теперь попрошу, чтобы лампу включили,  
чтобы свет не погас.

*1989*

Что нам дано?

Это как сказать, что нам дано.

Угол дождя, плащевая ткань, комнатное тепло.

Кто-то сказал, что стена есть дверь.

А моя стена есть окно.

И не зашторено треснувшее стекло.

Даже в него попадает последний луч,

чей-то хохот припадочный и заводной фокстрот.

Только не плачь, не плачь, умоляю тебя, не мучь.

Не говори о жизни, втиснутой между строк.

Вот подлетают голубь, ворона, грач (грач?),

чтобы отвлечь, утешить, вогнать в хандру.

Скоро покажут (только не плачь, не плачь)

облако на закате, дерево на ветру.

Как сказать: я не был причиной слез;

не восставал и не действовал заодно.

Кто-то к тебе стучался, ведь кто-то тебе принес

странную весть, что стена твоя есть окно.

1989



И подобно придурковатому дырмоляю  
обратясь к углу шепчу ему, умоляю:  
«Дыра моя, спаси меня!  
Укажи дупло, где светлое спит огниво».

И к вину обращаюсь, домашнему эскулапу:  
«Ты спасешь ли, излечишь меня на вечер?  
Я плетню, посмотри, деревенскому стал подобен».

«Рифма! — шепчу, — выдавшее виды искусство,  
тяга твоя спасительна от угара.  
Сколько незванных на всех твоих именинах».

Вижу луг, зеленый как до советской власти.  
Корова лежит, лоснится.  
«Эй, корова! — кричу, — Выручай!»

И к траве обращаюсь: «Трава,  
ты всего зеленей и сильней.  
Ни срубить, ни разрушить тебя невозможно,  
ты начальница жизни. Спаси!»

Рифма! Дыра! Корова!  
Луг и живая изгородь!  
Башенка остролиста. Веточка чебреца.

Кто исцелит, кто же меня спасет?  
Кто защитит от мысли, что все напрасно?

1989

**«А ведь когда-то...» Это дурное «а ведь»  
только затянешь, сразу зачин паскудный  
станет петлять или хитрить, лукавить.  
Музыка стала народной и беспробудной.**

**Так и поется, силой одолевая  
слово «когда-то» как слово «первопрестольный  
общая наша застольная, круговая.  
С чувством поется, но слышится непристойной**

**Есть утешенье, что где-то должно остаться и  
немузыкальное голошение.  
Может быть, движется по инстанциям  
на высочайшее имя мое прошение.**

**А постепенное истирание  
слов, записанных на кассету,  
так и задумано. Так учтено заранее.  
Взято из жизни, но включено в беседу.**

*1990*

А, может, ты пошел назад,  
как заворачивает ветер,  
перебежал висячий сад,  
который снизу не заметен.

В своем пространстве без углов,  
растянутом прозрачной сеткой,  
ты — неумный птицелов,  
ты тень, махнувшая рампеткой.

Гуляй по миру сквозняком  
как посторонний и прохожий,  
пока спасительный укол  
рассасывается под кожей.

А что ни строчки за сто лет,  
так заблудился письмоносец.  
Сменить просроченный билет  
готов колониальный офис.

Ложится скатертью туман.  
Не охраняется граница.  
Я верю: вспомнит, возвратится  
любимый сын из дальних стран.

*1991*

Тихо-тихо, осторожно  
зрела общая побудка.  
А сегодня бездорожье  
отдыхает ненарочно,  
слабину дает как будто.

Будто в общем пьедестале  
проявился тайный вывих.  
Волглые пустые дали  
озираются — пойми их!

Вся земля до поворота  
отдыхает без сознанья  
и зовет, зовет кого-то  
на последнее свиданье.

Кто мне вслед обронит слово  
и помашет теплой кепкой?  
До поклона поясного  
поле выцвело сурепкой.

Три-четыре поколенья  
размахнулись неумело.  
Спите, милые поленья,  
это все не наше дело.

В самом деле, что за прихоть:  
наобум, страхуя локоть,  
в темноту такую прыгать,  
тишину такую трогать.

Как теперь, идя поляной,  
встретив взгляд его стеклянный,  
подманить царя лесного  
слабым запахом съестного?

И природа, вроде трюма,  
только плещется угрюмо —  
море для ходьбы в ботинках,  
все в блестящих паутинках.

*1991*

Только про дождь — и ни о чем другом.  
Если бы несколько даже случайных строк,  
как именинным праздничным пирогом  
плыл по ночному Кинерету катерок.

Выстрижен солнцем каждый покаты́й холм.  
Вьелся лишайник в поры известняка.  
И на овец, покинутых пастухом,  
россыпь камней похожа издалека.

Щелочный дождь смешался тогда с вином  
и разъедает брошенный парадиз.  
Слышится в доме, приемнике подвесном,  
тайного радио переговорный свист.

*1991*

А что действительность? Какой-то поединок?  
В туманное пятно сходящий ряд картинок?  
Там что-то движется (детали неясны)  
как по катку скользящие фигурки.  
В прожекторах зенитной белизны  
зеленым вспыхивают куртки.

Или еще: хмельная пелена  
и вечер, до утра катящийся мгновенно.  
В холодной комнате гудящая струна,  
и в легкой кофточке сирена.

*1991*

Летний закат. Золотое его тиснение  
перекрывает зелень и проявляет чернь.  
Все-таки многое требует объяснения.  
Вот курить через силу, спрашивается, зачем?  
После прогулки к озеру сердце зачем печалится?  
Многое тонко спрашивается. Толком не отвечается.

Но прислонись к березе.  
Но обними сосну.  
Роза еще как роза. Облако тонет в озере.  
По сосне  
по березе ли  
ножичком полосну

*1991*



Слабый фосфор закатной воды.  
Сноп сияния до слепоты  
и петляющий сумрак.  
Обведенная черным листва.  
Свет беспамятства и торжества  
изменяет рисунок.

На закате, на сходе лучей  
много в воздухе новых вещей,  
необжитых, зловещих.  
Подожди, посидим где-нибудь.  
Может, полную горечи грудь  
понемногу расплещет.

1992

Вот пух: он так же сам собой  
заносится в тетрадь,  
июньский, серо-голубой.  
Пора его убрать.

И тополя, к спине спина  
(от них тебе поклон).  
Сквозная даль застеклена  
бутылочным стеклом.

Неразличимый, темный блеск, —  
не угадать никак,  
на чем застал меня отъезд  
на кладбище бумаг.

Там все, что я перехотел,  
нагнать меня спешит.  
Мне не туда, я не затем  
в такой мешок зашит.

Не этим тайный бьется ритм,  
идет его волна,  
и мысль бесслезная горит,  
по-щучьему вольна.

Как будто борется во мне  
за свой последний вздох  
трава, живущая на дне,  
глубоководный мох.

Как будто небо сходит вниз  
к мучителям своим,  
и воздух сам иссиня-мглист,  
с начесом пуховым.

На улицу! В давящий пресс!  
Под веселящий газ!  
И настигающий отъезд  
авось минует нас.

*1992*

Так бывает: день удачен, шаг неспешен.  
Как на роликах покатится прогулка.  
Друг без имени, медалями увешан,  
объясняет нам названье переулка.

Друг без имени, лицо твое багрово  
и военное сукно твое потерто,  
напонятная замучила хвороба,  
ты и вправду на ногах стоишь нетвердо.

При воскресном убывании заката  
вместе с первыми движениями смуты  
жизнь без повода по-своему крылата,  
если светится последние минуты.

*1990*

*Д. Н.*

Это была, чтоб ты знал, политика:  
взять за правило жить нигде.  
Мы были письмами на воде.  
И вода эта вытекла.

Вытекла, почвы не пропитав.  
Это такой, чтоб ты знал, устав:  
всякую речь начинать за здравие,  
все оставлять на своих местах.

Что там за дверью? Никак Австралия?

*1991*

Те, кого жизнь как следует причесала  
Тот, кто выскочил пулей, какой-то  
звонok услышав

Что им ответить?

ведь летописи не будет.

Что нам сказать пришедшему в мир за справкой?  
Каждый сражается в одиночку.

Разные вести доходят очередями.  
И семьянин, проснувшийся партизаном,  
за перекурom между двумя статьями,  
сам удивляясь, становится этим самым.

Тихий досуг тем более неуместен.  
Траурный ценник написан завидным слогом.  
А семьянин машинально выводит крестик,  
встретившись с новым, невинным еще подлогом.

Галочку ставит в памяти, вспоминая,  
что небывалой летописи не будет.

Только поземка носится ледяная,  
горе-веревочка вьется на перепутье.

1990

Повернется ключ, прогремят замки,  
и мои смещаются позвонки.  
Мы имеем право на то, что есть.  
Закононый гул и неясный скрип  
повторяет шорох моих бумаг.  
Темнота умеет считать до ста.  
А ночное небо, дымящий шлак,  
никогда не спит, в темноте искрит,  
леденит, как будто благая весть  
заблудилась здесь.  
И когда уходит ненужный треск,  
темнота сигналист: зеро... зеро...  
Повтори, что знаешь. Скажи сто раз  
ничего не значащих пару фраз:

с-нами-сна-золотой-обрез  
временибросовосеребро

*1991*

В этом лесу проходит граница пыли  
и разложенья, заметного на границах.  
Здесь собираем ягоды ли, грибы ли

Розовый свет, единый на многих лицах.  
Эта земля, свернувшаяся в калачик,  
как травяной, невидимый глазу улей.

Всем голосам, всем комарам — удачи!  
Сколько тоски в их ненасытном гуле.

Зелень бессмертна, и существа несметны.  
Тучи поющих на тысячи безголосых.  
— Не унывай, — воздух стрекочет светлый. —  
Я под конец объясню тебе легкий способ.

1990



*У поэта нет ничего, чего не было бы у всякого другого: ни нот, ни мрамора, одни слова. Сырье, из которого гонится поэтический спирт, принадлежит всем. Сколь бы хитрыми, металлическими, блестящими ни были аппараты перегонки, первичная энергия берется из сырья. А энергия речи — это ее эффективность: стихам есть откуда эту энергию брать, пока угрозы пугают, любовные признания ведут к помолвке, приказы поднимают в атаку, от рассказа волосы дыбом встают. Эффективность эта снижается, ибо она возможна только как следствие предварительного уговора: в ответ на угрозу пугаться, на вздохи падать в объятия, на приказ умирать и т.д. Один договор (= культура) давно утратил силу, другой нам не нравится.*

*Приходится признать, что нового соглашения, обеспечивающего эффективное применение языка, мы не дождемся. Что остается? Можно, скрепя сердце, принять условия той культуры, которая есть и которая заряжает язык не силой добровольного, хотя, может быть, и бес-*

сознательного уговора, а насилием или массовостью, — принять, пускай и переводя ее в отстраненный модус, эту силу, так сказать, приручая, — однако, ее неприятная для нас сущность, что ни говори, неприятной и остается. Я бы сказал — варварской, не будь она единственной.

Можно делать вид, что ничего не случилось, подключаясь к слабому току застольной и/или заушной болтовни (язык заплетается, цитаты перевираются), то есть разговора, который сводится к распусканию перьев перед своими — слишком своими — друзьями; можно искусственно подогреть отроческий взгляд на человека, смешивая погоду, похоть, политику. Это, в общем, неинтересно.

Можно сделать другое: найти в речи ту область, где она и должна быть неэффективной или, что то же самое, где ее эффективность не зависит от времени, то есть сделать из нужды добродетель, чем, собственно искусство и занимается. Эта область — одиночество, где человек говорит с покинутыми; с покинувшими; с собой; с Богом; где предварительный договор не нарушен, а невозможен принципиально, где, следовательно, его отсутствие не ведет к немоте. Прощальное письмо, молитва, бормотание под нос.

Михаил Айзенберг выбирает, в общем, разговор с собой — это не метафора для любых стихов, а вполне реальный источник формы. Что это значит, вернее, что из этого следует? Прежде всего: его стихи идут мимо тех пунк-

*тов, когда положено или принято говорить — они звучат, не когда нужно, а когда можно, то есть когда тебя не слышат — потому ли, что ты один, боля, возвращаясь домой, потому ли, что компания слишком шумная.*

*Говоря с собой, человек не рассказывает и не описывает, поскольку все, о чем он говорит, у него всегда перед глазами (перед памятью, перед воображением). И действительно — в стихах Айзенберга не стоит искать сюжета или декораций, даже действующие лица почти всегда не указаны — оставлены одни реплики, большей частью финальные. Насколько возможно, обстановку, предысторию и говорящего мы должны вывести из них, как из «ау» выводится лес, неверно выбранный путь и тот, кто надеется.*

*Поскольку причины чувств и слов (в прошлом или внешнем мире) не указаны, то все чувства приобретают оттенок беспричинности, и тоска, естественно, оказывается в центре, как беспричинная с полным правом. Но то, у чего нет причины, находит ее во всем, что видит: тоска — в ночном переходе, надежда — в надписи на стенке, отчаяние — в траве. Произвольность этой связи никто не скрывает, но предполагается, что обязательной быть не может. Она, эта связь, того же свойства, что и связь пословицы с любой конкретной ситуацией: пословица и тоска одинаково универсальны, и одинаково ничего не меняют.*

*«Ничего не изменится, поэтому не будем говорить вслух» — вот интонация, соединяющая*

*Айзенберга с вавилонским разговором «Раб, повинуйся мне! Да, господин мой, да!», с его ритмом вдалеке идущего поезда. Айзенберг предпочитает слушать не разговоры в купе, а стук колес; но не вторит ему, а отвечает — вздохом, стоном, стараясь не заразиться железной логикой собеседника. Этот отказ, как и отказ от объяснений и описаний, приводит неизбежно и к некоторой темноте: но это темнота не намеков, а краткости; следствие стремления к языку, очищенному от лишнего и чужого. А поскольку «своего» в языке никогда нет в наличии (оно всегда только цель), то речь идет о постоянном присвоении того немногого, что пока осталось ничьим.*

*Поэтому будет, я думаю, невелик и круг читателей Айзенберга (то есть тех, кому станет легче говорить после чтения его стихов). Мы любим (и правильно делаем), чтобы стихи говорили нам: «вот как много у тебя уже есть, а ты и не знал». Стихи Айзенберга говорят другое: «есть человек, который в таком же положении, как и ты», — а в каком именно, не сказано: это поймет только тот, кому оно уже хорошо знакомо. Он и будет знать, что он «уже не один».*

**Григорий Дашевский**

## Содержание

### 1980 — 1985

«Что я тебе скажу...» .....	6
«Среди тех. Среди тех, кто с нуля...» .....	7
«Вся земля уже с наклейками...» .....	8
«Пока чужому, незнакомому...» .....	9
«Чем жива душа?...» .....	10
«Этот выпавший койко-день...» .....	12
«Сор смести, заплатить за свет...» .....	13
«Прошу: позабудем, что мы корешки...» .....	14
«Посреди высотных башен...» .....	15
«Живу, живу, а все не впрок...» .....	16
«Нас пугают, а нам не страшно...» .....	17
«Этот снимок смазанный знаком...» .....	18
«Свои лучшие десять лет...» .....	19
«Под одной виноградной веткой...» .....	20
«Это счет вавилонский наш...» .....	21
«Кто из тех, кто вошел в поток...» .....	22
«Только если слезами полито...» .....	23
«Кто в проливные дни помнит свои пределы?...» ..	24
«Родная кубатура, — вместилище души...» .....	25
«Эммой — помните? — Бовари...» .....	26
«Хоть ненадолго, но посмотри: до поры...» .....	27
«Как бушлатников, темных лицом...» .....	28
«В ту пятницу, а может, в ту субботу...» .....	29
«Наше место давно известно...» .....	31
«А что этот друг или родственник мой...» .....	32
«Перелом, перелом...» .....	33
«И тяжкий храп, и лошадиный дых...» .....	34
«Не отстает, прячется за спиной...» .....	35
«Налицо опрощение...» .....	36
«Каждому, видишь, мера своя дана...» .....	37

«Как чернилами брызнет...»	38
«"Астор", "Джебел", "БТ" и "Пчелка" ...»	39
«Тишина. Из табачных туч...»	40
«В лаковом еловом блеске...»	41
«Гора-призрак. Гора-облако...»	42
Письмо другу-литератору	43

## 1972 — 1982

«У того, кто умеет клевать наугад...»	48
«А выдохи уходят в лекаря...»	49
«Ты гость и там, откуда нет гостей...»	50
«Свет мигает, нефть полосует...»	51
«Кто дышит пылью в солнечном столбе?..»	52
«Я не дымом в чужую одежду вошел...»	53
«Крым. Раззевавшейся земли...»	54
«Вот последнее: каждый порез на счету...»	55
«Не устаешь себя сличать...»	56
«Ты выбираешь сам, куда смотреть...»	57
«Наступая, судьба помутилась...»	58
«И ночь и день посторонились вдруг...»	59
«Опустись на лед, в заснеженный...»	60
«Больше недели хозяин небрит...»	61
«Земля и здесь так сбита и примята...»	62
«Полусон. За ним покоя...»	63
«Попробуй сразу удержать...»	65
«Если я хоть едва заметен...»	66
«Прошу: оставь меня, оставь...»	67
«Машинописный зубовный скрежет...»	68
«Все завершается единоборством...»	69
«Голова как в легкой феске...»	70
«Ходасевич — скрип уключин...»	71
Начало поэмы	72
«Мы смотрим в сон как в темное окно...»	73
«Еще не успеешь подумать с повинной...»	74
«Вот накатятся недели...»	75
«Будь осторожен: нельзя попадаться навстречу...»	76
«Не в печной трубе, а в газовой...»	77

«Забываясь, куда девается...» .....	78
«Не на памяти блудной, на чем? На другом...» .....	79
«Глянь по атласу: куда...» .....	80
«А где тот человек, что нам оставил ворох...» .....	81
«Это откуда? Оттуда, вестимо...» .....	82
«За пробором два хвоста...» .....	83
«Сердце заперто на балконе...» .....	84
Внутри кита .....	85
«Не боюсь признаться в червоточине...» .....	86
«Разлинован на грядки...» .....	87
«Нет преграды и нет стены...» .....	88
«Тыльная копоть, походная грязь...» .....	89

### 1986 — 1992

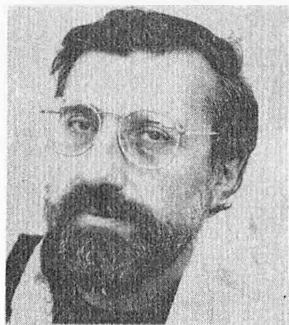
«Эпос, возьмите эпос...» .....	91
«Чтобы выйти в прямую безумную речь...» .....	92
Подстрочник .....	93
«Незаметные перепады дней...» .....	94
«Это правда. Это знак и ответ...» .....	95
«Вот и открылось...» .....	96
«Мы состояли как бы в одном ЛИТО...» .....	97
Гость .....	98
«Кто помнит что за зверь “гилярная лиса” ...» .....	99
«Караул кричит “караул” ...» .....	100
«Все наверх, товарищи...» .....	101
«Дай живущему сил вдвойне...» .....	102
«Гражданин вселенной...» .....	103
«Жизнь души. Душа сотрясается как листва...» ...	105
«Ты послушай вот, что тебе скажу...» .....	106
«День, когда в воздухе носится...» .....	107
Мы оба .....	108
«Я надеялся, что речь...» .....	110
«Есть один уголок, где Москва...» .....	112
«Поделенный на бледный верх и на темный низ...»	113
«День мой. Пух тополиный...» .....	114
«Поздним вечером...» .....	115
«Зажигаются лампочки. Комнаты все полны...» ..	116

На разные голоса .....	117
«Ранний час, а стемнело так...» .....	119
«А земля живет как в последний раз...» .....	120
«Здрасьте-здрасьте!...» .....	121
«Ах, это было здорово! весело, весело...» .....	122
«В сон затекает мелко...» .....	123
«Опять вплотную об отъезде...» .....	124
«Свежая ассигнация...» .....	125
«Поговори, посиди-ка хоть ты со мной...» .....	126
«На одно окаянное домино...» .....	127
«Есть люди — так удачно живы...» .....	128
«Хмурые липы в пятнах кудрявых впадин...» .....	130
«Что я делал все время?...» .....	131
«Это время тикает и стрекочет...» .....	132
«Что сегодня розовое к лицу...» .....	133
«...и, как верно замечено...» .....	134
«Что нам дано?...» .....	135
«И подобно придурковатому дырмоляю...» .....	136
«"А ведь когда-то..." Это дурное "а ведь" ...» .....	137
«А, может, ты пошел назад...» .....	138
«Тихо-тихо, осторожно...» .....	139
«Только про дождь — и ни о чем другом...» .....	141
«А что действительность? Какой-то поединок?...» .....	142
«Летний закат. Золотое его тиснение...» .....	143
«Слабый фосфор закатной воды...» .....	144
«Вот пух: он так же сам собой...» .....	145
«Так бывает: день удачен, шаг неспешен...» .....	147
«Это была, чтоб ты знал, политика...» .....	148
«Те, кого жизнь как следует причесала...» .....	149
«Повернется ключ, прогремят замки...» .....	150
«В этом лесу проходит граница пыли...» .....	151
Послесловие .....	152



Формат 70х90/32. Бумага офсетная. Гарнитура "таймс".  
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 5,85. Тираж 3000 экз.  
Заказ № 152/93

МНПП "Гендальф", 117936 Москва, Ленинский пр., 4.  
Типография А/О "ПОЛИМАГ",  
127247 Москва, Дмитровское шоссе, 107



Михаил Айзенберг родился в 1948 году в Москве, окончил Московский архитектурный институт. Работал архитектором - реставратором.

Начиная с середины 70-х годов стихи Айзенберга печатаются в русских журналах за рубежом («Континент», «Синтаксис», «Время и мы» и др.), в 1989 году впервые публикуются и в нашей стране. С этого времени стихи и эссе Айзенберга появляются в разных московских журналах и альманахах, а также в групповых сборниках «Понедельник» (М.1990) и «Личное дело» (М.1991). В зарубежных литературных изданиях стихи Айзенберга публиковались в переводах на английский, итальянский и польский языки.